* * *

Сторона бескрайняя –
глушь да белизна...
Нынче Пасха ранняя –
поздняя весна.
Теплоты немножко
в небе да в груди
намаши ладошкою,
Господи...

ПОЛУЛУНИЕ

Пора подружку на подушку,
да хорохориться постой...
Кому, придерживая двушку,
звонить задумал мир ночной?

А поглядеть на обороте –
до поздней утренней зари
мы в телефоне-автомате,
иссиня-чёрном изнутри.

Но племя юное на это,
пожав плечами, промолчит...
Луна, как медная монета,
в небесной прорези торчит.

* * *

По мольбе твоей или судьбе
на ожесточающем ветру
по тебе, живая, по тебе
руки мои сохнут поутру.

На пути недолгом, налегке
редко перехожем для двоих,
губы мои сохнут вдалеке
от короткой щедрости твоих.

Но опять становится вода
в первородной дымке голубой
влагою телесною, когда
мы соединяемся с тобой.

Лишь глотком, закинутым рывком,
в пересохшей напрочь глубине
горло перехватывает ком
от восторга быть наедине.

* * *

Хочешь не хочешь – ступай за порог:
псу моему выходной ли, рабочий...
Утро холодное. Тёплый парок
овеществляется в пасти собачьей.
Солнце восходит при рыхлой луне –
скоро совсем до заката растает...
Азия стынет – иначе бы не
ветер её холодел в Казахстане.
Что Kazakhstan? Из такой же земли –
исполу мы олатинились тоже...

Дочери к дальнему морю ушли –
где нарыбалятся, чем подытожат?
Нечего спрашивать, кто разлучил –
сам от земной перемены немея,
речи иной их не ты ли учил,
странной любви передать не умея?
Вот и не рви на себе волоса –
в них без того не застрянет гребёнка...
Вот и осталось – выгуливать пса
утром и вечером, точно ребёнка.

* * *

В расплав осенний окуная ноги,
наги, но беззастенчиво легки,
берёзы у далматовской дороги
рябы, как далматинские щенки.
А вдалеке за монотонным лесом,
где в небо утыкается земля,
вода висит завесою белесой,
опущенной из тучи на поля.
И зябкий сгусток ёжится и ноет
в груди от неизбежного дождя...

Но всё, что время выцветшее моет,
оно же укрывает погодя.
И хочется вынашивать и нянчить
в несвойственных глубинах естества
комочек беззащитности щенячьей,
зачатый в ожиданье Покрова.

* * *

До настоящего романа
собой, увы, не доходя,
жизнь, точно повесть графомана,
оскальзывается, хотя,
когда, как юноша бездомный,
оказываешься в былом,
открыв бездонный многотомный
картонный или электронный
фотографический альбом,
где, оживая – помяните,
во испытание уму
кровят оборванные нити,
собравшиеся в бахрому –
от созерцания светлеешь,
как будто заново прочёл,
и ни о чём не сожалеешь,
не забывая ни о чём.